

Рубрика: Летопись. — Поэзия. — 1995. — 29 июня.

Где надобен был сад...

В книге Ходасевича «Державин» Николаю Александровичу Львову (1751—1803) дается следующая характеристика: «Судьба была к нему благосклонна. Приятный лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный, он был зараз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке. Но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия одновременно переводил Анакреона и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр».

Эта двусмысленная характеристика имеет большее отношение к реальности, чем другая, очень похожая, опрометчиво данная как-то Ходасевичем «щастливому Вяземскому». Правда, архитектурное наследие Николая Львова сегодня ценят выше. Еще в 80-е годы в Ленинградском городском экскурсионном бюро существовал трехдневный маршрут, посвященный работам Львова в Петербурге и в Тверской губернии. Бывало, впрочем, что простодушные экскурсанты оказывались разочарованы: они-то думали, что их повезут во Львов; а другие полагали, что речь идет об архитекторе, спроектировавшем гранитных львов на Невской набережной.

Книга, вышедшая недавно в Петербурге, представляет в первую очередь Львова-поэта и теоретика литературы. Но, думается, как раз его зодчество во многом может пролить свет и на творческие принципы Львова-поэта. Среди построенного им есть очень добротные, но обычные образцы классической архитектуры того времени: питерский Почтамт, торговые усадьбы и церкви. Но не они при-

дают творчеству Львова особый колорит, не они заставляют вспоминать его сегодня, а странные фантазии, в которых соединились инженерное, «технологическое» начало — и романтический дух, уже дававший знать о себе в ту эпоху.

Но ведь то же и в литературе. Конечно, творческий дар Львова несопоставим с державинским, но уж, без сомнения, он мог бы без усталости производить ту «легкую поэзию», отменным мастером коей был другой его друг, Капнист, или Муравьев, или Нелединский-Мелецкий — тоже его знакомцы. Это хорошие поэты, и Львов мог бы стать хорошим поэтом, так, как они. Он умел.

Осенне времечко настало,
Не пой, унылый снегирек!
Не пой, как ты певал бывало,
Не пой, мой добренький дружок!

Пускай павлин, хвостом пушистый,
Своею славится трубой!
Петух и ночью голосистый,
А ты, мой друг снегирь, не пой.

Русским читателям 20-го века любовь к таким стихам внушена Кузминым. Мы легко умиляемся их изысканной наивности — но слышим ли, как снегирь Львова аукается с державинским?

Но в том-то и дело, что таких стихов у Николая Львова мало. Он писал иначе. Вот как он писал:

Слуга твой хвилой Львов
Услышать звон колоколов,
Увидеть пузыри и плоски,
Москву-тетеху вплояхх
По тюфильской дорожке
Приплыл на костылях...

А вот как он перевел воздыхания Гальфда Храброго — этого провинциально-го подражателя провансальских трубаду-ров:

Я рожден в земле высокой, во Норвегии,
Там, где из лука стрелять досужи жители;
Но чего мужик боится, я за то взялся:
Корабли водить меж камней по синю морю
От жилой страны далеко по чужим волнам;
А меня ни во что ставит дева русская.

Это подражание «слогу богатырских лет» написано за десять лет до публикации «Древних российских стихотворений»

Кирши Данилова. И явно не просто патристические чувства вдохновляли Львова и в этом, и во многих других случаях. У него был особый вкус ко всему «странному», не соответствующему ложноклассическим идеалам. Он любил монументальное простодушие фольклора, и отсюда его пристрастие к Анакреону, которого он противопоставлял «пухлостям Томаса и пряного Дората». Любил он и «странности речи», диалектизмы и написал целую пьесу — «Ямщики на подставе» — таким экзотическим говором, что ни тогдашний, ни современный читатель не в состоянии понять ее без особого глоссария.

Но как при этом ему удалось не подвергнуться эстетическому остракизму? Как не осмелили его, не ослабили в веках (что случилось не только с малоодаренным графом Хвостовым, но и талантливейшим Бобровым)? Думается, Львова как раз спасла маска просвещенного и остроумного дилетанта. В каком-то смысле он — с точки зрения классической культуры — и впрямь был дилетантом, ибо далеко не в первую очередь интересовал его результат работы. Он был выдумщиком, генератором идей, скрытым эстетическим мотором эпохи. Он сам избрал эту участь. Родись он на полтора столетия позже — его место в истории культуры, может быть, оценили бы щедрее. Элиот и Элюар были бы велики в любой век, но Паунд и Бретон смогли осуществить себя в полной мере лишь в эпоху, когда свежие эстетические идеи, необязательно сформулированные в толстых трактатах, оказались значимы не меньше, чем собственно творческие свершения.

Но Львов и в свое время не затерялся. «Где надобен был сад, — писал Державин, — загородный роскошный дом, где надобен был праздник, иногда театральный балет, иногда значительная кака-нибудь декорация, там гений его обращал все в чудесную прелесть. По части хозяйственной в государственном отношении открыл он в значительном количестве земельной угодья в России... Он ввел земледельное... строение, избрал воздушные каминные и другие домашние удобства. Он особенно любил русское стихотворство...»

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ
Санкт-Петербург

Н. Львов. Избранные сочинения. Предисловие Д. Лихачева. Вступительная статья К. Лаппо-Данилевского. Кёльн—Веймар—Вена, «Берлау». — СПб, «Акрополь», 1994 (Пушкинский Дом, Русский христианский гуманитарный институт).